

Когда войну мы вгоним в гроб
и хоронить сойдёмся вместе,
когда её бугристый лоб
расстрига-ветер перекрестит,
когда её в донецкий кряж
зароем, чтоб не восставала,
и терриконовый пейзаж
над ней сомкнется без прогала —
мы возвратимся в города
и павильоны «соки-воды»
собой заполним без труда,
как землю мирные народы.
И сок гранатовый никак
нам не напомнит о разрывах,
и о внезапности атак,
и о случайностях счастливых.
Мы им напьёмся допьяна,
потом очнёмся и заметим,
что погребённая война
иначе снится нашим детям.
Они рисуют лик войны
красивым, ласковым, нестрогим.
Они почти что влюблены
в неё на радость педагогам.
И кто-то в класс ворвётся: нет,
мерзее не было старухи!
Но где же взять её портрет?
Они к рассказам нашим глухи.

И станет модным аромат,
знакомый нам как трупный запах.
А значит, вновь глаза глядят
с привычным холодом – на запад.

* * *

Я говорю о старых игроманах,
потрёпанных судьбой ролевиках,
об их смешных интригах и романах,
их рюкзаках и их дождевиках.
Они идут в сиреновом и чёрном,
Колумбы нарисованных земель.
Усатый дед назвался Арагорном,
старушка навсегда Галадриэль.
Бухгалтерши, агенты страховые,
курьеры по доставке мелочей
лелеют деревяшки боевые
и навыки шутов и палачей.
Один певец, другой колдун злодейский
идут походом с севера на юг.
А кто-то царь, быть может, иудейский,
но как его заметишь среди слуг?
Нам постлана одна постель земная,
ложись в неё и плоть свою укрой,
своих потешных битв не вспоминая.
А всё-таки припомнится порой
эльфийки секондхендовское платье,
противник перешёл за Ахеронт,
и рушатся охранные заклатья,
но войско мёртвых цепко держит фронт.

* * *

Буйная растительность, однако.
Главное, пока не началось
наступление холода и мрака
в мире, продуваемом насквозь.

Главное, что солнышко нагрело
теплохода белые бока
и танцует лодочка на гребне.
Главное, что русская река.

Русская, как школьная задача,
до звонка решённая в уме.
Белый гравий и песок горячий.
И, конечно, церковь на холме.

Женщина застыла на пороге
и дитя готовится внести.
И кафе, где сиживали боги,
как всегда, откроют к десяти.

Главное, что лето не проходит,
только пролетают облака.
Можно сесть на этот теплоходик,
можно посмотреть издалека.

* * *

В этой сутолоке московской
нелегко усидеть в седле,
и профессор Майрановский
доживает в Махачкале.
Рядом плещется море синее,
по дорожке идёт мулла.
Свои руки простёрла химия
в человеческие дела.
Эти руки в крови и рвоте
здесь нащупали свой предел.
Если вы до сих пор живёте,
знать, профессор недоглядел.
Расцвели города, районы,
в них итожат свои деньки
провалившиеся шпионы,
полицаи и следаки.
Кто косится из тьмы прихожей,
позвонит ли горсвет, горгаз.
Кто заранее чует кожей:
это снова не к нам, не нас.
Кто накидывает на плечи,
обрывая с прорехи нить,
телогрейку, навеки зэчью –
не согреться, так пофорсить.
Или в праздник у пионеров
блещет выправкой удалой:
поглядите, какие нервы,
хоть пили их бензопилой.

* * *

Я иду по этой улице
тенью лета и тебя.
Кто-то выйдет и простудится:
недовыдали тепла.

Низкорослая азалия,
пеларгония в окне
погибают в беспечалии
и рождаются в огне.

Этажи шестые, пятые,
бездоходные дома.
Беспородная, патлатая
выбегает шантрапа.

От звонка трясётся будочка,
в ней чужие голоса.
Сердце в скважину, как дудочка,
еле втискивается.

Это всё рождается заново,
но уже не для меня.
Я такое вижу зарево
повивального огня.

Мною улица истоптана
до последних бакалей.
Я однажды стану топливом
наподобье тополей.

* * *

Я читал сегодня не Басё,
мне иное шепчет небосвод.
Где-то, где-то в Буркина-Фасо
грациозный бродит бегемот.

Я купался в пепельной реке,
примостившись на его спине,
и художник Водкин, не Сакэ,
написал картину обо мне.

Это страсть играет в города,
норовя уткнуться в твёрдый знак.
Туарегских слов белиберда,
не переводимая никак.

Кто собрался с ночи в Тимбукту,
тот ещё успеет на обед,
а чужая бусинка во рту
оказалась лучшей из планет.

Что ты мелешь, если между строк
сыплется древесная мука
и в песчаной тундре носорог
отрастил ветвистые рога?

И куда ты денешь это всё,
выходя к Создателю на шмон:
тёплый вечер в Буркина-Фасо
и клыки, прекрасные, как сон?

* * *

Он не любит столичную пену,
а в районах считай что родня.
Он выходит на летнюю сцену
и, конечно, поёт про коня.

Юбилей ли дорожного треста
пыль пускает в людские глаза
или музыки просит невеста
удалого пивного туза.

Он по нотам немного мазила
и костюм бы ему поновей.
Ты давай, чтобы сердце щемило,
по-простому, без этих затей.

Много их колесит по России,
накатали себе колею.
И поют они песни чужие,
и не в силах придумать свою.

Нам Россия – большая, на вырост,
на три вечности хватит вполне.
Мы в России сухие, как хворост.
Мы трещим в её жарком огне.

Нам бы только побольше удачи,
не пропали бы воля и труд.
Ты послушай, а сердце-то плачет.
Значит, есть оно. Значит, не врут.

Вот он снова поёт про землянку,
про смуглянку заводит, звеня.
Ковыряет сердечную ранку –
и, конечно, поёт про коня.

И в укромные сусличьи норы
проникают надежда и страх.
Конь идёт. Конь несётся, как скорый,
вдоль по полю на полных парах.

* * *

Сегодня мы не смотрим новостей,
на день забыты сводки или сводни.
Коловращеньем листьев-лопастей
мы с августом прощаемся сегодня.
Проходит август, господин усадеб,
начальник обмолотов и покосов.
Уже не привести его назад
и неудобных не задать вопросов.
Он Молотов и он же Риббентроп,
он сибарит в своей песочной тройке.
А завтра осень изморосью троп
придёт взыскать былые неустойки.
Да, осенью расплатимся за всё,
все договоры с подписью и в силе.
Да, осенью наплачемся за то,
что августовских дней не оценили.

Что не прочли его амбарных книг
и со стола смахнули, не подумав,
пустую вечность, выдутую в миг
искусством насекомых стеклодувов.

* * *

Я стал советским скучным типом,
пустил часы в обратный ход,
но я не сделался полипом
и прилипалой у господ.

Питаюсь я по Микояну,
верчу диеты на бую
и предпочтение баяну
пред саксофоном отдаю.

Вы не ошиблись, правда ваша:
я совершенно устарел.
Советский, будто простокваша,
я оказался не у дел.

А дел всегда, как в мясорубке,
невпроворот, невперемол.
Кругом нужны мозги и руки,
но где он, верный комсомол?

А вот же он, в консервной банке,
судьбою шпротною влеком.
Все эти рокеры и панки,
что создал питерский горком.

И я, пускай иного званья,
в последний слой едва вошёл.
Я называю «Юрюзанью»
ваш одноразовый «Стинол».

Вот-вот на нас вернётся мода,
мы накануне рубежа,
когда уже близка свобода,
но нет консервного ножа.

* * *

Они не умерли, не умерли.
Зазря им некрологи строчат.
Они теперь, наверно, в Юрмале
трамбуют тапками песочек.
У них теперь иные радости,
но песенка ещё не спета,
и обходительные лабусы
с утра им подают ристретто.
На эти пляжи вечно юные
ссылают брошенных певичек.

Туда, ослабленные дюнами,
доходят зовы электричек.
Да кто только не бродит пляжами,
не ищет жемчуг после бури.
Не исключаю, что однажды я
проснусь на пляже Келасури.
Не огороженные бонами,
просторы вод приятны глазу.
И чуть намоченные волнами
талоны на обед в турбазу.
И буду ждать, как дара царского
и пуще всех подлунных выгод,
харчо из риса краснодарского
с бараньей косточкой навылет.

* * *

Жил в тоске многоподъездной,
где панель, а не кирпич,
никому не интересный
дядя Женья, старый сыч.
Он обругивал мальчишек,
что с мячом наперерез.
Из-за пенсионных книжек
он ходил, ворча, в собес.
Он доказывал кассирше,
что четыре – дважды два.
Он смотрел на вещи ширше:
вещи больше, чем слова.
Чем бывал он в жизни занят,
толком я не узнавал.
Он сидел. За что – бог знает.
Он когда-то воевал.
Он переправлялся через
Днепр – и там почти погиб.
Дядя Женья – лысый череп.
Дядя Женья – чайный гриб.
Кто б подумал, что бывают
и такие времена.
Я за тех, кто доживает,
вместе с ними пью до дна.
Я и сам из тех инкогнит,
разбежавшихся волчат.
Хорошо, что нас не помнят,
в дверь ночами не стучат.
А стучат одни костяшки
домино на целый двор.
Вышел в клетчатой рубашке
Дядя Женья на простор.
Впереди в багровой пене
диск садится за рекой.
Позади у дяди Жени
нету тени никакой.